# Огонь, который всегда в тебе

# Сергей Снегов

1

Создателем индивидуальной музыки общепризнан Михаил Потапов. На концерте Потапова — он состоялся первого мая 2427 года по старому летосчислению — изумленное человечество познакомилось с новой и такой ныне популярной формой музыкального самозвучания (Потапов, как известно, употреблял термин «музыкальное самопознание»). Но не стоит думать, что новая форма музыки появилась сразу, как Афродита из морской пены. У великого творения Потапова есть не только история, повествующая о том, как оно заполонило в короткий срок умы и чувства, но и предыстория — и, к сожалению, трагическая.

Недавно разбирали архив известных физиков прошлого века — братьев Генриха и Роя Васильевых. Среди прочих документов нашли в нем и материалы, которые бросают свет на истоки индивидуальной музыки. Материалы эти будут опубликованы в сорок седьмом круге пленок «Классики науки», а здесь мы воспроизведем лишь речь Роя на собрании членов Общества классической музыки. Речь эта никогда не передавалась в эфир и не печаталась на официальных пленках общества. Возможно, это объясняется тем, что классическая музыка, сегодня снова имеющая немало поклонников, в те годы была почти полностью позабыта и собрания ее немногочисленных адептов не привлекали к себе широкого внимания.

Ниже дан сохранившийся текст речи; начало, к сожалению, утрачено.

«...Это произошло незадолго перед последней болезнью Генриха. Он уже прихварывал: ранения, полученные при загадочной аварии звездолета на Марсе, — тайна, впоследствии им же с таким блеском распутанная, — были залечены, но не преодолены. Внешне Генрих оставался бодрым, красивым, быстрым, но я уже смутно догадывался, куда идет дело, и в один нехороший день — я потом объясню, почему он нехорош, — силой вытащил брата из лаборатории.

— Ты дурак, Генрих, — сказал я. — А я скотина. Не спорь со мной. Я не терплю преувеличений и если говорю, то объективную истину.

— Я не спорю, — возразил он кротко. — Но я хотел бы знать, что тебе от меня надо?

— Сейчас мы выйдем наружу. И будем ходить по городу. И погуляем в парке. А возможно, слетаем на авиетках к морю и покувыркаемся на волне. И если мы этого не сделаем, я буду чувствовать себя уже не скотиной, равнодушно взирающей, как брат неразумно губит себя, а прямым убийцей.

Он с минуту колебался. Он глядел на приборы с грустью, словно расставался с ними надолго. Мы в это время исследовали записи второго механика звездолета «Скорпион», единственного человека, оставшегося в живых после посадки галактического корабля на планетку Аид в системе Веги. Загадок была масса, многие не разъяснены и поныне, а тогда все казалось чудовищно темным.

Генриху не хотелось бросать эту работу ради прогулок, мне тоже не хотелось, но это было необходимо, так ослабел Генрих. И я бы за шиворот оттащил его от приборов, если бы он не уступил.

Но он покорился, и мы вышли за город. Я не буду описывать прогулку. Самым важным в ней, как вскоре выяснилось, было то, что, на общую нашу беду, мы повстречали в парке Альберта Симагина.

Он несся по пустынной аллее, словно запущенный в десять лошадиных сил. У него был полубезумный вид, рот перекосился, он молчаливо, без слез, плакал на бегу. Генрих остановил Альберта. Генрих дружил с ним еще в школе. Мне же в Альберте не нравилась несдержанность, слишком громкий голос, глаза тоже были нехороши: я не люблю хмурых глаз.

— Откуда и куда? — добродушно спросил Генрих. Я особо подчеркиваю добродушие тона, с Альбертом Генрих всегда разговаривал только так. Я и сейчас не понимаю, чем этот шальной фантазер привлекал Генриха.

Альберт закричал, будто о несчастье:

— Из музея! Откуда же еще?

— Зачем же бежать из музея?

Как вы понимаете, это спрашивал Генрих, а не я. Я лишь молча рассматривал Альберта.

— Ничего ты не понимаешь! — произнес Альберт яростно. — Просто удивительно, как некоторые люди бестолковы!

— Объясни — пойму.

Объяснением путаную, шумную речь Альберта можно было назвать лишь условно.

Я понял одно: в музее Альберт рассматривал четверку несущихся коней — недавно законченную картину Степана Рунга, не то «Фаэтон на взлете», не то «Тачанки в походе», названия не помню.

Лихие лошадиные копыта сразили Альберта. Он ошалел от облика коней, его истерзала экспрессия бега, опьянила музыка напрягшихся мускулов — именно такими словами он описал свое состояние. Картина ему звучала, он не так видел, как слышал ее. Он сказал: «Трагическая симфония скачки». С этого и начался его спор с Генрихом. Генрих удивился:

— Вещь Степана я знаю, во мне она вызывает иные ассоциации. И если уж оперировать музыкальными терминами, то я бы сказал, что картина звучит весело, а не трагически.

— Чепуха! — прогремел Альберт. Черноволосый, лохматый, с очень темным лицом, с очень быстро меняющимся выражением диковатых глаз, то вспыхивающих, то погасающих, — он всегда казался мне малость свихнувшимся. Колокольно гремящий голос Альберта меня раздражал, и я опасался, что разговор взволнует Генриха, а ему было вредно волноваться. Генрих, правда, улыбался, а не сердился. — Ты примитивен! Ты не понимаешь главного: каждый слышит в картинах свою собственную музыку.

— Ты отрицаешь объективную реальность?..

— Я не отрицаю, я утверждаю. Отрицают люди, не умеющие создавать. Я создатель. Я утверждаю, что там, где тебе послышится хохот, мне раздастся плач.

— Но это и есть отрицание объективной всеобщности восприятия.

— Вздор! Это есть утверждение объективной всеобщности своеобразия. Ты проходишь мимо тысяч женщин равнодушно, а одна потрясает тебя — та самая, мимо которой равнодушно прошли все твои товарищи. Она зазвучала тебе, а другие не зазвучали. А если бы прав был ты, то все парни влюблялись бы в одних и тех же женщин, в тех, в которых больше объективных женских совершенств. Но ты ищешь в женщине свою музыку, а не глухие объективные добродетели.

— Странный переход от картины в музее к влюблению в женщин!

— Нормальный. Живопись — музыка красок, а любовь — музыка чувств и поступков.

— Короче, все звучит?

— Все звучит! Все музыкально: вещи и дела, слова и чувства. И каждый человек воспринимает мир по-своему — музыка мира у каждого своя. Для тебя скачка коней на картине Рунга — веселая пляска, для меня — мрачный реквием.

Генрих радовался диковинам. Он лукаво поглядел на меня.

— Выходит, я слышу в Пятой симфонии Бетховена шаги судьбы, а ты, Рой, драку у кабака.

— Не говори о Бетховене! — зарычал Альберт. — Древние мастера писали принудительную музыку. Они бесцеремонно навязывали слушателям созданные ими мелодии. Я же толкую о свободной музыке, которая звучит в твоей душе вот от этой тучи, этого солнца, этой зелени, этих домов, этих прохожих, от самого тебя, наконец, хотя, сказать честно, ты не очень хорошо звучишь!

Запальчивость Альберта все больше веселила Генриха. В ту минуту и я порадовался, что он с увлечением спорит, я и догадаться не мог, к чему приведет этот странный спор.

— Как жаль, что твоя индивидуальная музыка — нечто абстрактное, ни на каком инструменте не услышать.

— Опять врешь! Такой инструмент есть! Я его сконструировал сам. Он записывает музыку моего восприятия. Я бежал из музея, чтобы не потерять ни одной ноты из зазвучавшей во мне мучительной симфонии бега. Встреча с тобой спутала гармонию инструментов моей души: вместо симфонии получается какофония. Идите оба к чертям! До нескорого свидания!

Генрих помахал ему рукой, я сказал:

— До свиданья, Альберт! — И это были единственные слова, произнесенные мной за все время встречи.

2

А на другой день мы узнали, что Альберт умер. И еще оказалось, что мы были последними, кого он видел перед смертью, это засвидетельствовал он сам, прокричав роботу-швейцару: «Повстречал Роя и Генриха! Вот же бестия Генрих, он жутко меня расстроил дурацкими сомнениями, но теперь я ему покажу, теперь я ему покажу!» После этого он заперся в кабинете, откуда послышались непонятные звуки, тоже запечатленные на пленке швейцара, а часа через два наступило молчание. Робот воспринял молчание как сон, но это была смерть.

Утром Генриха и меня вызвали в квартиру Альберта.

Альберт лежал на полу около исчезнувшего силового дивана — очевидно, скатился в агонии, так и не успев ни крикнуть о помощи, ни выключить интерьерное поле. Я часто видел мертвых и на Земле и в космосе, в последние годы мне с Генрихом приходилось распутывать загадки многих непонятных смертей, но такого странного трупа мы еще не видели. Тело Альберта свела жестокая судорога, и руки и ноги были столь невозможно выкручены, что, казалось, это немыслимо совершить, не ломая костей, но кости были целы, так установила медицинская экспертиза.

Первое, что бросалось в глаза, был этот ужасный облик тела, молчаливо кричавший о безмерном страдании. И вот тут начинается странное: на лице Альберта закоченело выражение счастья, он радовался своей гибели, он ликовал, он восхищался — такое у меня создалось впечатление; и чувство, возникшее у Генриха, было таким же. И вторая странность: тело почернело — Альберт словно бы обгорел.

Я с минуту стоял около трупа, потом отошел. Мне было страшно глядеть на Альберта. Я не дружил с этим человеком, как Генрих, но неожиданная его гибель была так ужасна, что разрывалось сердце.

— У тебя трясутся губы, Рой, — сказал Генрих. Он еле держался на ногах от волнения. — Мне кажется, тебе плохо.

— Не хуже, чем тебе, — возразил я, силясь улыбнуться. — На тебе тоже лица нет. Смерть это смерть, ничего не попишешь.

В комнате уже были следственные врачи. Я обратился к ним:

— Что случилось с Альбертом?

Один из врачей ответил:

— Похоже на отравление каким-то ядом, вызывающим гибельное повышение температуры. Ожоги на теле, по всему, произошли от внутреннего огня. Точно узнаем на вскрытии, а пока скажу: в моей практике еще не было столь загадочной смерти.

— В моей тоже, — сказал я.

Генрих молчал и осматривался. Не помню случая, чтобы Генрих сразу высказал свое мнение в трудных ситуациях: ему предварительно надо было посмотреть сто вещей, продумать сто мыслей, прежде чем он решится выговорить одну фразу.

В комнате стоял незнакомый аппарат, и вокруг него стал кружить Генрих, после того как справился с первым волнением. Труп отнесли в морг. Я отвечал и за себя и за Генриха на вопросы следователей-врачей, сам задавал им вопросы — на три четверти их они ответить не смогли, — потом поинтересовался, что обнаружил Генрих. Ничего важного он не открыл. Аппарат был усилителем электрических потенциалов, довольно сложное сооружение, но для чего он предназначен и как действует, понять из осмотра было непросто, а отпечатанной схемы ни на приборе, ни в комнате мы не нашли.

— По-моему, эта штука связана с работой мозга, — проговорил наконец Генрих. — Вот эти гибкие зажимы накладываются на руки, эти — на шею...

— А эти проглатываются, — хмуро сострил я, показывая на два шара, похожие и величиной и цветом на апельсины. — Закуска неудобоваримая, что, впрочем, Альберт доказал своей трагической гибелью.

Так мы еще некоторое время перебрасывались словами, а потом на стереоэкране зажглась картина вскрытия трупа и мы, не выходя из комнаты Альберта, стали свидетелями того, что происходило в морге. Вывод прозектора был таков: Альберт скончался от ожога, охватившего все его тело. Это был редчайший случай внутреннего самовозгорания, гибель от пламени, промчавшегося по нервам, бурно закипевшего в артериях и венах, безжалостно обуглившего кости и мышцы. Один из медиков сказал, что в древние времена насквозь проспиртованные алкоголики, у которых в крови было больше спирта, чем кровяных шариков, вот так же воспламенялись, когда к ним подносили спичку. Другой возразил, что Альберт алкоголиком не был и горящей спички к нему не подносили. Этот врач считал, что Симагин погиб от электрического тока: если на тело наложить электроды, подвести напряжение в несколько тысяч вольт, то сквозь ткани промчится ток такой силы, что порожденная им теплота изнутри убьет человека. Третий медик заметил, что электрической казни Альберта не подвергали, а сам он не смог бы выбрать подобный вид самоубийства, ибо у него не было высоковольтной аппаратуры. Этот рассудительный врач собственного суждения о причинах смерти Альберта не имел.

Я попросил следователя, вместе с нами наблюдавшего стереокартину вскрытия:

— Разрешите нам остаться в квартире Симагима. Мы хотели бы на месте трагедии поразмыслить о ее причинах.

Он ответил, по-моему, с большим облегчением:

— О, пожалуйста! Мы будем признательны, если вы прольете свет на загадку этой смерти.

3

— Ну? — сказал Генрих, когда мы остались одни. — Не сомневаюсь, что у тебя уже готова версия драмы, и настолько невероятная, что только она одна справедлива. Ибо ты не раз говорил, что загадки только потому и загадки, что в основе их лежат редкие причины, а мы чаще всего ищем тривиальностей. Или не так?

Он шутил с усилием, у него было грустное лицо. Вы понимаете, что и мне было не легче. Но я поддержал его иронический тон, чтобы не дать расходиться нервам. Меня все больше беспокоило состояние Генриха. Мы в свое время раскрыли тайну гибели Редлиха, были свидетелями трагической кончины Андрея Корытина, очень близкого нам человека. Все это были грустные истории, наш успех в распутывании тех тайн не доставил радости ни Генриху, ни мне. Но еще ни разу я не видел Генриха таким подавленным. Теперь я знаю, что он уже был болен, но тогда еще не понимал этого, сверхмудрые медицинские машины тоже не обнаружили проницательности. Одно я представлял себе с отчетливостью: Альберта уже не воскресишь, нужно, чтоб рана, нанесенная его гибелью Генриху, не оказалась для брата непосильной тяжестью.

— Искал, конечно, невероятного, но в голову лезут одни тривиальности,

— сказал я.

— Ладно. Объяви свою тривиальность, если на невероятное стал неспособен.

Все было в традициях наших обычных разговоров. Генрих часто издевался над моим методом работы, хотя все важные идеи, принесшие этому методу известность, принадлежали ему, а не мне. Он был такой: сперва насмехался, потом загорался. И в тот день, начиная рассуждение, я не сомневался, что где-то в середине он, увлекаясь, прервет меня и продолжит сам — и гораздо лучше продолжит, чем мог бы сделать я.

— Альберта сжег внутренний пламень, — сказал я. — Так установили медики. Остается раскрыть, что породило гибельный огонь. Алкоголь отпадает, электрический разряд тоже. Тем не менее был какой-то физический агент, породивший испепеляющий свет.

— Иначе говоря, смерть произошла не чудом. С таким проницательным выводом можно согласиться.

Я спокойно продолжал:

— Итак, глубинное потрясение. Что могло потрясти Альберта? Он умер через несколько часов после встречи с нами. Робот свидетельствует, что, раздраженный твоими возражениями, Альберт собирался тебе что-то доказать. И оно, это пока непонятное нам «что-то», его доконало.

— Значит, я — косвенная причина его непонятной смерти?

— Не ты, а то, чем он собирался побить тебя в споре. Какой-то неопровержимый аргумент против тебя, который он разыскал, — вот что погубило его.

— Постой, постой! — сказал Генрих. Брошенная мной и неясная мне самому, признаюсь честно, мысль уже превращалась у него во все озаряющую идею. Так бывало и раньше, так было и в тот раз. — Давай вспомним, о чем мы спорили с Альбертом. Я утверждал, что музыку великих композиторов все люди воспринимают в общем одинаково, а он возражал. Говорил, что у каждого в душе творится своя особая музыка и что при помощи такой индивидуальной музыки люди познают мир. «Все звучит: вещи, слова, чувства» — разве не так он сказал?

— Именно так. Но чем он мог опровергнуть тебя? Я говорю об этом: «Теперь я ему покажу!»

— Только одним: показать физически, что вещи и события создают в его психике музыку. Он сказал, что картина Рунга звучит ему трагической симфонией, неким мрачным реквиемом. Я был бы опровергнут, если бы ему удалось записать эту симфонию, и не просто записать — как нечто им сотворенное, так работают все композиторы, но и показать, что каждая нота порождена картиной, он лишь звучащий инструмент, а не творец.

— Итак, Альберта сожгла музыка, порожденная картиной Рунга. А накал ее вызван страстным желанием убедить тебя, что мелодия вещей реально существует. Но как и где зазвучала убийственная музыка?

— Этого пока не знаю. Надо думать.

Генрих быстро заходил по комнате. Он всегда молчаливо, возбужденно бегал взад и вперед, когда его озаряла новая идея.

— Вот он, убийца Альберта! — сказал Генрих и показал на аппарат, возвышавшийся посреди комнаты.

4

Мне тот аппарат тоже показался подозрительным, но утверждать, что в нем корень несчастья, я бы не решился. Ни одно из моих сомнений Генрих не опроверг. Он умоляюще поднял руки:

— Не требуй от меня слишком многого! Я еще не нашел, а ищу. Это пока голая идея.

— Любые идеи, голые и одетые, надо доказывать. Лишь диспетчерам, объявляющим посадку в планетолеты, верят на слово.

Мы опять с осторожностью осмотрели аппарат. Он не кусался, но и яснее не стал. В нем таились по крайней мере две загадки: непонятно было, для чего он, и еще темнее — как он действует. Генрих стоял на своем: в аппарате материализовалась музыка, испепелившая беднягу Альберта. И до самой кончины несчастный не понимал, что гибнет, вот отчего на лице его окаменело выражение счастья, когда тело перекрутила судорога паралича.

— Я приду к тебе на помощь, — сказал я Генриху. — Я знаю, где источник питания таинственного аппарата. Если в нем творилась музыка души Альберта, то питался он жизненной энергией его тела. Не надо искать подключений к внешним энергетическим станциям. Это аппарат-вампир, высасывающий тело, чтобы усладить душу.

Генрих задумчиво смотрел на гибкие провода с зажимами на концах; от аппарата шло пять таких проводов.

— Это можно проверить, Рой. Если я закреплю зажимы на своих руках, ногах и на шее...

— Ты не закрепишь их, Генрих. Ты меня часто раздражаешь, это верно, но погибнуть на моих глазах я тебе не разрешу.

— Если это будет на твоих глазах, я не погибну. И ты должен понять, что иного способа проверки не существует.

Тут я приближаюсь к самому трудному пункту моего рассказа. Как я осмелился поставить такой опасный эксперимент на человеке с расстроенным здоровьем, к тому же на моем брате? Ответить на этот вопрос сейчас, после известных событий, непросто, тем более что я хочу объяснить факты, а не оправдываться.

В продиктованной мной большой биографии Генриха, где я подробно рассказывал о наших совместных работах, я уже отмечал, что Генрих бывал невыносимо упрям. Он мог кричать и упрашивать, был то мучительно молчалив, то еще мучительней красноречив, умел находить такие неожиданные аргументы, что парировались они лишь с трудом, если их вообще удавалось парировать. Об этой особенности его характера часто забывают историки наших работ, но я не мог с ней не считаться.

Но главное было все-таки не в этом. С упрямством Генриха я бы как-нибудь справился, противопоставив ему собственное упрямство.

Была и другая причина, почему я согласился, и очень важная причина, смею вас уверить! Вначале мы ставили опыты над собою попеременно, даже чаще подопытным бывал я, с детства у меня здоровье крепче. Ничего хорошего из этого не вышло. Генриху не хватало хладнокровия, чтобы руководить рискованными опытами. Он то увлекался экспериментом и забывал обо мне, то, пугаясь моего состояния, раньше времени обрывал опыт. В своей выдержке я был уверен больше. Но вы вскоре убедитесь, что если в общем это правильно, то в том конкретном случае я переоценил себя, и это едва не породило новую трагедию.

— Согласен, но ставлю жесткие условия, — объявил я. — Первое: мы раньше обследуем этот прибор в нашей лаборатории, и, пока не получим его подробной схемы, никаких экспериментов не будет. Второе: если в этом дьявольском сооружении творится музыка, то ее должен воспринимать не ты один, но по крайней мере и второй слушатель — я. Стало быть, раньше разработаем приставку, делающую явными неслышные внутренние звуки, потом начнем вызывать их к жизни, или вернее к смерти, ибо звуки эти — убийцы. И последнее: чтобы установить, насколько музыкальна продукция этого треклятого аппарата, мы пригласим на испытание еще двух человек — толкового медика из породы тех, которые не только лечат болезни, но и привлекают к ответственности объекты, вызывающие заболевания, и настоящего музыканта, умеющего и воспроизводить музыку, и критически в ней разбираться.

— Медика ты найдешь легко, — сказал Генрих, усмехаясь. — Но отыщешь ли столь разностороннего музыканта?

— Уже отыскал. И могу тебя заверить — парень что надо!

5

Так в нашей компании появился Михаил Потапов.

Мы с ним вместе учились в школе. В детстве Михаил был медлительным, молчаливым увальнем. Я не могу сказать, чтоб его тогда увлекала музыка. Его ничто по-настоящему не увлекало, а если увлечения нарождались, то они долгие годы созревали в латентном состоянии, внешних плодов созревания никто не видел. Он был в те годы до серости неприметен. А вскоре после школы он вдруг прославился как создатель своеобразной музыки, неровной и непонятной, временами вызывающей боль, а не наслаждение. Она ввергала слушателей в транс. «Гипнотическая симфония» — так он сам назвал одно из своих произведений. Не сомневаюсь, что все эти факты вам, знатокам классических мелодий, — их сейчас многие обругивают «принудительными», по несчастному словечку Альберта, получившему столь широкое распространение,

— вам, повторяю, эти общеизвестные истины знакомы куда лучше, чем мне. Но я должен напомнить о них, ибо без этого не смогу вывязать рассказ о событиях, чуть не погубивших Генриха.

Итак, в нашей лаборатории, в то утро, когда мы возились со звучащей приставкой к аппарату Альберта, возник Михаил Потапов.

Он вошел без стука, не поздоровался, не проговорил ни слова, только хмуро и молча поглядел. Генрих его не знал, он ведь был на семь лет моложе нас с Михаилом, но догадался, кто пришел.

— Ага, это вы! — сказал Генрих приветливо.

— Да, я, — ответил Потапов и, посмотрев в мою сторону, деловито моргнул. Моргание и раньше заменяло у него кивок головой.

Я вызвал интерьерное поле и усадил гостя в кресло. Михаил всегда сидел охотнее, чем ходил, к тому же ходить в нашей заставленной механизмами лаборатории было неудобно. Он сидел и молча смотрел на меня. Он не любил говорить. Он говорил так, словно его рот набит камнями. В древности один оратор закладывал за щеку каменья, чтоб речь звучала ясней. Михаил на того оратора не походил.

— Ты уже слыхал о загадочной смерти Альберта Симагина, — сказал я. Он опять моргнул. — Но ты, вероятно, не знаешь, что, отличный инженер, Альберт увлекся музыкой — не старинной и даже не твоей, а какой-то особой, отвергающей и опровергающей всех до него существовавших композиторов.

Потапов шевельнулся в кресле и промямлил:

— Моя музыка самая современная. Она неопровержима и неотвергаема.

— Всех вас! — повторил я. Мне захотелось его позлить. — Он утверждал, что вы своевольно навязываете слушателям свои звучания, насильственно порождаете желаемые вами эмоции. Он обругал вашу музыку принудительной. Он стремился создать музыку вольную, исполняемую для всех одновременно, но для каждого слушателя — свою.

— Интересно, — пробормотал Михаил. Глаза его оставались тусклыми. Пробить этого человека было нелегко. Он подумал и добавил: — Даже очень интересно. — Он еще подумал. — А результат?

— Альберт погиб, вот результат. А теперь сиди и смотри. Мы с Генрихом подготавливаем к испытанию созданный Альбертом аппарат, у каждого творящий свою музыку.

Потапов сидел, смотрел и молчал, временами закрывал глаза, и тогда казалось, что он засыпает, но через минуту-другую медленно приподнимал веки, снова всматривался в нашу работу, взгляд его становился понемногу осмысленным, на серых щеках забрезжил румянец. Мы с Генрихом переговаривались. Собственно, говорил я, Генрих откликался. Думаю, однако, из нашего отрывистого разговора любой мог уяснить себе, к чему мы готовимся, а Михаил тупицей, конечно, не был.

Через некоторое время он заволновался.

— Рой, — пробормотал он, — у меня мысль. Я хочу вместо Генриха.

— Если это мысль, то неудачная. Испытание опасно. Генрих опытный экспериментатор, чего нельзя сказать о тебе.

— Моя мысль не в этом, Рой. Я не ищу этого... опасностей. Я хочу проверить, как понимал музыку Альберт.

— Мы этого тоже хотим. И сейчас будем проверять. А ты по-прежнему молчи и слушай. Скоро музыка, вызванная к жизни Альбертом, зазвучит в твоих ушах. И твоя задача эксперта — сказать, стоит ли она чего.

После этого уже ни словом, ни движением он не прерывал подготовки к эксперименту. В лаборатории появился медик с ассистентами. Руки, ноги и шею Генриха сковали зажимы от аппарата, другие провода и теледатчики сигнализировали о состоянии жизненных параметров, а музыкальная приставка готова была усладить наш слух любыми мелодиями, рождавшимися в мозгу Генриха.

— Начинай, — сказал Генрих, и я включил аппарат. Минуты две мы ничего не слышали. Генрих лежал с закрытыми глазами и о чем-то думал. Мы обалдело таращили глаза один на другого. Лицо Михаила стало апатичным. Могу поклясться, что в эти первые две минуты он забыл и о нас, и о нашем эксперименте — вероятно, творил свои путаные симфонии. А затем музыка Генриха зазвучала в приставке, усилители доносили ее до наших ушей, аппарат же Альберта словно ожил, в нем засверкали глазки и сигнализаторы, разноцветные вспышки озаряли его изнутри. Объективности ради должен признаться, что вначале я больше следил за аппаратом, чем вслушивался, но вскоре музыка захватила меня всего, и, кроме нее, уже, казалось, ничего не было ни во мне, ни вокруг.

После моего доклада вы сами услышите музыку Генриха, поэтому не буду ее описывать, тем более — я не музыкант и обязательно в чем-нибудь да совру. Скажу лишь, что за всю свою жизнь я не слыхал мелодии столь красивой и столь печальной. Не знаю, какие инструменты могли порождать этот гармоничный плач, нечеловечески прекрасный, нечеловечески терзающий душу плач. Он доносился отовсюду, исторгался из меня и во мне, все вокруг пленительно рыдало. Я просто не могу подобрать другого эпитета, кроме вот этого: «пленительный», он единственно точный, и я был пленен, я тоже молчаливо рыдал в такт этому плачу, это была уже не мелодия Генриха, а терзаемая душа всего мира, и она рыдала во мне, со мной, рыдала всем мною!

Чувство, захватившее меня, повторялось у каждого слушателя, все мы как ошалелые, как бы внезапно ослепнув, уже не видели ни друг друга, ни Генриха, и всем в себе отдавались магии тоскующих звуков.

Вдруг я очнулся. Не знаю, как удалось прорваться сквозь коварную сеть полонящей мелодии, но я пришел в себя и увидел, что Генрих почти бездыханен и кривые на самописцах, фиксирующих жизненные параметры, все до единой катятся вниз.

— Доктор, он умирает! — заорал я и кинулся сдирать с Генриха зажимы.

Медик, охнув, выключил аппарат. Его ассистенты суетились вокруг Генриха. Кто облучал его из живительных радиационных пистолетов, кто делал инъекции, кто прикладывал к щекам и ко лбу примочки, кто из индукционных аппаратов пронизывал нервы электрическими разрядами. Прошло минут пять, прежде чем Генрих открыл глаза. Мы подняли его и поставили, он не удержался на ногах. Мы опять положили его на диван, опять энергично обстреливали, примачивали, вводили растворы, терзали электрическими потенциалами.

— Что с тобой? Скажи, что с тобой? — спрашивал я. Он наконец откликнулся — бессвязно, на полуслове останавливался, повторялся. Даже после страшной аварии на Марсе, даже после отравления диковинным мхом, когда мы с ним открыли общественное радиационное кси-поле, он не был так ослаблен. Он объяснил, что, ожидая музыки, вспомнил Альбину и захотел опять разобраться в тайне ее гибели, но, как и раньше, ничего достоверного не установил, и его охватило отчаяние, что она умерла такой молодой, а он не сумел ей помочь и даже не понимает причин ее смерти.

Рассказ Генриха прервало громкое рыдание Михаила. Композитор скрючился на диване и заливался слезами. Я подумал было, что и ему плохо от порожденных Генрихом мелодий, но Михаил с раздражением отмахнулся от меня.

— Вы не понимаете! Вы не способны понять! — лепетал он. — Самый страшный тупица — я! В мире еще не существовало человека бесталаннее меня! Был только один гений, только один — Альберт, теперь я знаю это!

— Обстреляйте его успокаивающими лучами! — приказал я медику. — А если ваши средства не помогут, я надаю этому болвану оплеух! — Нервы у меня разошлись, я и в самом деле мог полезть в драку.

Михаил вскочил. Глаза его исступленно горели. Даже не верилось, что это те сонные зенки, какими он обычно озирал мир.

— Альберт был величайшим гением, но и он ошибался! Он ошибался, я не ошибусь! Я сотворю то, что ему не удалось!

И, продолжая что-то кричать на бегу, он ринулся вон.

6

Только через несколько дней мы с точностью установили, что вырвали Генриха из тенет смерти буквально в последний момент. Еще две-три минуты такой убийственной музыки — и он был бы испепелен. Это не словесная фиоритура, а беспощадный факт: болезнь, поразившая Генриха, больше всего напоминала внутренний ожог. И лечили его, как мне сотню раз объясняли медики, и знаменитые, и обыкновенные — они стадами паслись у постели Генриха, — от ординарного ожога внутренних тканей. Я сказал «ординарный ожог» и печально усмехаюсь: вероятно, во всей истории медицины не было болезни удивительней той, что погубила Альберта и едва не прикончила Генриха. Я приведу лишь один факт, чтобы вам стала понятна серьезность события: за час музыкального сеанса Генрих похудел на семь килограммов, так велик был отток энергии из тела.

В эти суматошливые дни борьбы Генриха с хворью я позабыл о Михаиле, он тоже не давал знать о себе, даже не поинтересовался здоровьем Генриха. Он словно бы не ушел, а бежал — и боялся снова с нами соприкоснуться.

Он появился недели через две. Генрих уже вставал на короткое время, он хотел побольше ходить, но медики сомневались, полезно ли это ему, и я не давал. Я, как вы понимаете, и работал и ночевал в комнате Генриха и если выходил из нее, то ненадолго.

— Жив? — приветствовал я Михаила. — А мы думали, тебя взяла нелегкая.

Он понял «нелегкая» в смысле «нелегкая музыка» и торжествующе засиял:

— Мелодия губительная, но я превратил ее в свою противоположность. Расскажите, как вы объясняете изобретение Альберта?

Я посмотрел на Генриха. Он прошептал:

— Говори ты.

Мы с Генрихом много размышляли о происшествии, я высказал не свое, а общее мнение. Я начал с того, что человек и вправду познает окружающее и себя не одним разумом, но и эмоциями, и среди них немаловажно музыкальное восприятие. Вещи мира не только видятся, не только осязаются, не только пахнут, но и звучат. Каждому предмету мира, каждой комбинации их соответствует в психике человека особое музыкальное звучание. Древние греки говорили о «гармонии сфер» — и они не были такими уж дураками. Один поэт некогда писал:

И все звучит. На камень иль траву Ступаешь, как на клавиши рояля.

И прислонясь к стволу, росу роняя На звезды, облепивши листву, Звучишь и сам.

Обратное тоже верно — каждому психическому состоянию человека соответствует мелодия, выражающая это состояние. Разумеется, все эти звучания — симфонии внешнего мира, музыкальные ритмы психики — обычно так слабы, что составляют неопределенный шумовой фон восприятия и размышления.

Альберту удалось — и в этом сила его изобретения — гигантски усилить внутреннюю музыку человеческого познания и страстей. Но изобретение таит в себе и угрозу. Природа недаром скрыла музыку чувств и мыслей в микрозвучании, растворила ее в шумовом фоне. Альберт распахнул зловещий ящик Пандоры, скрывавший страсти души. И в своем натуральном виде эмоции почти всесильны, под их действием люди гневаются, рыдают, тоскуют, впадают в неистовство, бесятся, сходят с ума. Тысячекратно же музыкально увеличенные, они убивают. Любое ощущение, крохотное и неприметное, усилитель Альберта делает великим чувством. Человек не способен вынести ни великое горе, ни великую радость, человек гармоничен, такова его природа,

— все чрезмерное губительно для человека. И сам Альберт, испытывая свой аппарат, был сожжен гигантским наслаждением и, уже умирая, не понимал, что гибнет, а не наслаждается. И Генриха едва не испепелила вечно тлеющая в нем печаль об Альбине, когда печаль из обычного чувства выросла в обжигающе громадную. И чтобы больше не повторялись такие трагедии, мы теперь постараемся наглухо закрыть грозное открытие Альберта Симагина...

— Нет! — закричал Михаил. — Вы этого не сделаете! Я не позволю!

— Не позволишь? Между прочим, мы пригласили тебя в качестве музыкального эксперта, а не на роль верховного судии. Улавливаешь разницу?

— Выслушайте меня! — попросил он. — Только об одном прошу: выслушайте меня спокойно. Не надо так волноваться.

— Волнуешься ты, а не мы. Говори. Обещаю слушать без усиления эмоций.

Он говорил путано и торопливо, воспроизвести его бессвязную речь в ее буквальности я не сумею. Он соглашался с нами: гениальный аппарат Альберта

— он так его и назвал — безмерно усиливает звучания, уже существующие в психике, они и впрямь становятся опасными. Защищать усилитель Альберта в его сегодняшнем варианте он не намерен. Но Симагин совершил великое открытие, об этом надо твердить, об этом надо кричать: окружение порождает в человеке музыку, в эти внешние звучания вплетаются мелодии психики — удивительная, но, к сожалению, почти неслышная симфония творится в душе каждого человека, индивидуальная его музыка, музыка его восприятия, его мыслей, его чувств, не навязанная волей композитора. Он, Михаил, намерен эту музыку сделать явной, не усиливая страсти души, а гармонизируя их. Душа неизменно алчет не умножения того, что уже есть в ней, а противопоставления. Если человек яростен, то все в нем жаждет усмирения, если он горюет — радости, если буйно весел — тишины.

— Гасить страсти? — сказал я. — Так, что ли? На огонь лить воду, под лед подводить пламень?

— Не так! — запротестовал он. — Не гасить, а гармонизировать, неужели вы не понимаете? Совмещать противоположности, свет отчеркивать тенью. Полная, совершенная гармония — и особая для каждого человека!

— В идее звучит неплохо. А как в осуществлении?

— Уже осуществлено! — объявил он торжественно. — Я написал изумительную вещь, никто еще до меня... С принудительной музыкой отныне покончено, только та, что создается самим слушателем... Называется «Твоя собственная симфония». Публичный концерт — через месяц, первого мая.

— Придем, — пообещал я. — К тому времени Генрих поправится. А пока извини, разговор затянулся.

— Пожалуйста, — поспешно сказал Михаил, но не ушел. Лицо у него стало жалким.

Генрих удивленно взглянул на меня. Всю беседу он промолчал, это с ним случалось. Но если собеседником он бывал не отменным, то слушателем образцовым. Я нетерпеливо сказал:

— Говорю тебе, мы придем. Что еще?

— Без вашей помощи концерт не состоится, — промямлил Михаил. — Дело в том, что... Мне нужен аппарат Альберта. Я его немного переделаю... Знакомые конструкторы обещали... Понимаешь?

Я обернулся к Генриху. Генрих засмеялся.

— Отдай, — сказал он с облегчением. — И пусть он покрепче переделывает эту чертову машину. Сказать по совести, я боюсь смотреть на нее.

7

О первом концерте индивидуальной музыки мне говорить нечего, он у всех вас в памяти.

И вы, конечно, помните речь, произнесенную Потаповым перед концертом. Я лишь добавлю, что Генрих смеялся, а я удивлялся. Михаил держался заправским оратором. Он так развязно нападал на музыку прошлых веков, что уже это одно покорило молодых буянов, начинающих утверждение своей личности со словечка «нет», обращенного на все и на всех. Тогда впервые публично и прозвучал изобретенный Альбертом термин «принудительная музыка», отныне столь обычный, что уже не замечают его ругательной природы. Зато общепринятое сегодня название «индивидуальная музыка» Михаил употребил всего раз или два; он напирал на формулы «свободная музыка» и «музыкальное самопознание».

Что до самого концерта, то меня смешило, что в зале собралось почти двадцать тысяч человек и все молчат и чего-то ждут, а ничего не происходит: оркестра нет, наушники тоже отсутствуют и только на сцене возвышается небольшой деревянный ящик — переделанный аппарат Альберта. Во мне индивидуальная музыка всегда звучит слабо, я, вероятно, воспринимаю мир не музыкально, а рационально. Михаил не раз сетовал, что я феномен и его творения не про меня.

Но эта забавная музыка все-таки зазвучала и во мне. Я назвал ее забавной, потому что во мне она скорее была иронической, звуки смеялись, особенно когда я опять озирал сосредоточенно молчавший зал. Генрих же, когда концерт закончился, оказал мне со вздохом:

— Опять те же печальные мелодии! — Он увидел, что я забеспокоился, и добавил: — Но не было ничего страшного, на такую музыку я мог бы ходить каждый день.

Пока мы выбирались наружу, я прислушивался к разговорам вокруг нас.

— Гигантское произведение! — говорил один, растерянно улыбаясь. — Нет, это поразительно, почти сверхъестественно! Никогда в жизни не слышал такой величественной симфонии!

— Я плакал, — признавался другой. — Я ничего не мог с собой поделать, слезы лились сами. Просто невероятно, как Потапову удалось построить такую большую вещь на вариациях одного траурного мотива, правда нежного и красивого, этого отрицать не могу.

— Вот же было веселье! — восторгался третий. — Если бы не соседи, я пустился бы в пляс, так хороши те радостные мотивчики! А тебе они понравились? — спрашивал он свою подругу, немолодую женщину.

— Веселые? — переспросила она. — Я что-то их не услышала. — Она содрогнулась. — Больше я на такие концерты не пойду. Звуки были грубы, некоторые мотивы непристойны. У меня впечатление, будто меня раздевали и освистывали. Если и слушать такую музыку, то запершись в одиночестве.

— Этот концерт нужно слушать в постели, а не в зале, — утверждал еще один. — Удивительно успокаивающая вещь, после нее хорошо заснуть.

Впрочем, я ломлюсь в открытую дверь: вы не хуже моего знаете, как действует индивидуальная музыка. И что она теперь публично не исполняется, а стала интимным занятием, совершаемым в одиночестве, по-моему, естественно. Мы с Генрихом не раз потом говорили об этом с Михаилом. Он, как вы знаете, долго боролся против переселения его индивидуальной музыки из концертных залов в спальни, он видел в этом реванш, взятый ненавистной ему классической принудительной музыкой.